

ФЕДОР
ДОСТОЕВСКИЙ



Записки
из Мертвого дома



МОСКВА
2023

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44
Д70

Оформление серии *Н. Ярусовой*

В оформлении обложки использованы фрагменты работы
художника *Николая Ярошенко*

Д70 **Достоевский, Федор Михайлович.**
Записки из Мертвого дома / Федор Достоевский. — Моква : Эксмо, 2023. — 352 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-122433-2

Ф. М. Достоевский — создатель «полифонического романа», по мнению М. М. Бахтина, — создал книгу очерков «Записки из Мертвого дома» под впечатлением от заключения в Омском остроге. Это глубокое произведение великого мыслителя, главной идеей которого стала Свобода как важнейшее условие человеческого существования. Это уникальный документ, включающий рассказы о судьбах настоящих заключенных, которых писатель встречал на каторжных работах; множество характерных выражений и поговорок, услышанных писателем от арестантов и солдат.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-122433-2

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ

В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквями — одной в городе, другой на кладбище, — города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, — или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы, три года, и по исте-

чении его тотчас же хлопчут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натывается на охотника. Шампанского выпивается естественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сампятнадцать... Вообще земля благословенная. Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.

В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда, за убийство жены своей, и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем. Он собственно приписан был к одной подгородной волости; но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на попроще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздиков, у которого было пять дочерей разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересо-

ла. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Ивановича и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иванович не пригласил бы его для дочерей своих, но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговариваться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что в сущности это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть даже и не последние люди, но знали, что он с самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, — одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастья и сожалеют о них. Но, несмотря на все это, чужак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.

Я сначала не обращал на него особенного внимания; но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересоваться мной. В нем было что-то загадочное. Разговориться

не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первойшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его долгие спрашивать; да и на лице его после таких разговоров всегда виделось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Иваныча. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унылся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я ни с того ни с сего сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы, наконец, уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что

мне стало, наконец, совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздражил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще не разрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменял намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец, я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею — как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг я у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?

Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее: чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уж истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенно нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей,

и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибраться в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить любить себя.

Я унес его бумаги и целый день перебирал их. Три четверти этих бумаг были пустые, незначащие лоскутки или ученические упражнения с прописей. Но тут же была одна тетрадка, довольно объемистая, мелко исписанная и недоконченная, может быть заброшенная и забытая самим автором. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Но каторжные записки — «Сценны из Мертвого дома», — как называет он их сам где-то в своей рукописи, показались мне не совсем безынтересными. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочел кое-что с любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выбираю сначала две-три главы; пусть судит публика...



I

МЕРТВЫЙ ДОМ

Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, помотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу день и ночь расхаживают часовые, и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтора ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу. За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой

особый мир, ни на что более не похожий; тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь — как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать.

Как входите в ограду — видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в глубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели; далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Средине двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и переключка утром, в полдень и вечером, иногда же и еще по нескольку раз в день, — судя по мнительности караульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором, остается еще довольно большое пространство. Здесь, по задачам строений, иные из заключенных, понелюдимее и помрачнее характером, любят ходить в нерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменные лица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием в свободное время было считать пали. Их было тысячи полторы, и у него они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день; каждый день он отсчитывал по одной пале и таким образом, по оставшемуся числу несосчитанных палей, мог наглядно видеть, сколько дней еще остается ему пробыть в остроге до срока работы. Он был искренно рад, когда доканчивал какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще ему дожидаться; но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и, наконец,

выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молился на образа и потом низко, в пояс, откланивался товарищам, прося не поминать его лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж, и крепко запечалился. Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Они поговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо, когда он возвращался в казарму... Да, в этом месте можно было научиться терпению.

Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того — шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, все — обруганное, ошельмованное... да, живуч человек! Человек есть существо, ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение.

Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали. И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были

и инородцы, было несколько ссыльных даже из кавказских горцев. Все это разделялось по степени преступлений, а следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Главное основание всего острожного населения составляли ссыльнокаторжные разряда гражданского (*сильно* каторжные, как наивно произносили сами арестанты). Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу на сроки от восьми до двенадцати лет и потом рассылались куда-нибудь по сибирским волостям в поселенцы. Были преступники и военного разряда, не лишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах. Присылались они на короткие сроки; по окончании же их поворачивались туда же, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них почти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важные преступления, но уже не на короткие сроки, а на двадцать лет. Этот разряд назывался «всегдашним». Но «всегдашние» все еще не совершенно лишались всех прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных преступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Назывался он «особым отделением». Со всей Руси присылались сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно было удвоить и утроить рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по каторге», — говорили они другим заключенным. Я слышал потом, что разряд этот уничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости и гражданский порядок, а заведена одна общая военно-арестантская рота. Разумеется, с этим вместе перемени-

лось и начальство. Я описываю, стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие...

Давно уж это было; всё это снится мне теперь, как во сне. Помню, как я вошел в острог. Это было вечером, в декабре месяце. Уже смеркалось; народ возвращался с работы; готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мне, наконец, двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу — один! Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!

Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги-промышленники по находным деньгам или по столовской части. Были и такие, про которых трудно было решить: за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о былом своем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались не думать о прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека. Но были и мрачные лица, почти всегда молчаливые. Вообще жизнь свою редко кто рассказывал, да и любопытство было не в моде, как-то не в обычае, не принято. Так разве, изредка разговорится кто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесь никого не мог удивить. «Мы — народ грамотный!» — говорили они часто с каким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник,

хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как он зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай, да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его шуткам, закричала, как один человек, и разбойник принужден был замолчать; не от негодования закричала казарма, а так, потому что *не надо было про это* говорить; потому что говорить *про это* не принято. Замечу кстати, что этот народ был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах, отделите вы от него кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была бы грамотных? Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток. Различались все разряды по платью: у одних половина куртки была темно-бурая, а другая серая, равно и на панталонах — одна нога серая, а другая темно-бурая. Один раз, на работе, девчонка-калашница, подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг захохотала. «Фу, как не славно! — закричала она, — и серого сукна недостало, и черного сукна недостало!» Были и такие, у которых вся куртка была одного серого сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже брилась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперек. С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога. Вообще же скажу, что весь этот народ, за некоторыми немногими исключениями неистошимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим презрением, — был народ угрю-

мый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему не удивляться была величайшею добродетелью. Все были помешаны на том, как наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротою молнии сменялся на самый малодушный. Было несколько истинно сильных людей; те были просты и не кривлялись. Но странное дело: из этих настоящих, сильных людей было несколько тщеславных до последней крайности, почти до болезни. Вообще тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были непрерывные: это был ад, тьма кромешная. Но против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать; все подчинялись. Бывали характеры резко выдающиеся, трудно, с усилием подчинявшиеся, но все-таки подчинявшиеся. Приходили в острог такие, которые уж слишком зарвались, слишком выскочили из мерки на воле, так что уж и преступления свои делали под конец как будто не сами собой, как будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду; часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени. Но у нас их тотчас осаживали, несмотря на то, что иные, до прибытия в острог, бывали ужасом целых селений и городов. Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся, и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного, собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибший народ, — говорили они, — не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды». — «Не слушался отца и матери, послушайся

теперь барабанной шкуры». — «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом». Всё это говорилось часто, и в виде нравоучения, и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда серьезно. Все это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался внутренне в своей незаконности. Попробуй кто не из каторжных упрекнуть арестанта его преступлением, выбрать его (хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника) — ругательством не будет конца. А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей — а это утонченнее, ядовитее. Бесперывные ссоры еще более развивали между ними эту науку. Весь этот народ работал из-под палки, следовательно он был праздный, следовательно развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие.

«Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу!» — говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабы наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни. Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих душегубцев. Повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные. Этих как-то невольно уважали; они же, с своей стороны, хотя часто и очень ревнивы были к своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость, в пустые ругательства не вступали, вели себя с необыкновенным достоинством, были рассудительны и почти всегда послушны начальству — не из принципа послушания, не из сознания обязанностей, а так, как будто по какому-то контракту, сознав взаимные выгоды. Впрочем, с ними и поступали осторожно. Я помню, как одного из таких

арестантов, человека бесстрашного и решительного, известного начальству своими зверскими наклонностями, за какое-то преступление позвали раз к наказанию. День был летний, пора нерабочая. Штаб-офицер, ближайший и непосредственный начальник острога, приехал сам в кордегарию, которая была у самых наших ворот, присутствовать при наказании. Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов, он довел их до того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, «бросался на людей», как говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его пронизательного, рысего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного, умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим управлением. Не понимаю, как мог он кончить благополучно; он вышел в отставку жив и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под суд.

Арестант побледнел, когда его кликнули. Обычно он молча и решительно ложился под розги, молча терпел наказание и вставал после наказания, как встрепанный, хладнокровно и философски смотря на приключившуюся неудачу. С ним, впрочем, поступали всегда осторожно. Но на этот раз он считал себя почему-то правым. Он побледнел и, тихонько от конвоя, успел сунуть в рукав острый английский сапожный нож. Ножи и всякие острые инструменты страшно запрещались в остроге. Обыски были частые, неожиданные и нещучные, наказания жестокие; но так как трудно отыскать у вора, когда тот решился что-нибудь особенно спрятать, и так как ножи и инструменты были всегдашнею необходимостью в остроге, то, несмотря на обыски, они не переводились.

А если и отбирались, то немедленно заводились новые. Вся каторга бросилась к забору и с замиранием сердца смотрела сквозь щели паль. Все знали, что Петров в этот раз не захочет лечь под розги и что майору пришел конец. Но в самую решительную минуту наш майор сел на дрожки и уехал, поручив исполнение экзекуции другому офицеру. «Сам бог спас!» — говорили потом арестанты. Что же касается до Петрова, он преспокойно вытерпел наказание. Его гнев прошел с отъездом майора. Арестант послушен и покорен до известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати: ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд можно даже назвать его сумасшедшим; да так и делают.

Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми. Это факт. Конечно, тщеславие, дурные примеры, молодчество, ложный стыд во многом тому причиною. С другой стороны, кто может сказать, что выследил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего света? Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но этого не было, положительно не было. Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают. Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог

и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твердо уверен, что знаменитая келейная система достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, энervирует его душу, ослабляет ее, пугает ее и потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния. Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. К тому же он уже потерпел от него наказание, а чрез это почти считает себя очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника. Но, несмотря на всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком. Только в остроге я слышал рассказы о самых страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жажда наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полиция нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена

к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. Всё время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, за то, что не умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своем отце. Раз, говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот *родитель мой*, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь». Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще неизвестное науке, а не просто преступление. Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить.

Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: «Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, голову!..»

Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое; оттого и кричим по ночам».

Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью: арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы

жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения имел свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся казенной работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую. Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили.

Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в стеклянке. Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались внезапные обыски, отбиралось все запрещенное, и — как ни прятались деньги, а все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись недостатки, немедленно заводились новые вещи, и все шло по-старому. И начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.

Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но каторга была очень бедна и чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся или разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до того процветало, что принимались под заклад даже казенные смотровые вещи, как то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот дела, не совсем, впрочем, неожиданный:

заложивший и получивший деньги немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству. Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и угрюмо возвращал, что следовало, и даже как будто сам ожидал, что так будет. Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так только, для очистки совести.

Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь в каютке; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в острог проносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги, выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность, хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того

кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что во все время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания, клялся и зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по целому месяцу, но, наконец, все-таки не выдерживал... Благодаря этим-то личностям вино не оскудевало в остроге.

Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш. Подаяние бывает почти непрерывное и почти всегда хлебом, сайками и калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах, арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решенных, было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну. Если недостатка на всех, то калачи нарезаются поровну, иногда даже на шесть частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плака-

ли. Увидя меня, девочка покраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та бросилась бежать за мной... «На, «несчастный», возьми Христа ради копеечку», — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку я долго берег у себя.

II

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Первый месяц и вообще начало моей осторожной жизни живо представляются теперь моему воображению. Последующие мои осторожные годы мелькают в воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стусевались, слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое, однообразное, удушающее.

Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.

Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или, лучше сказать, неожиданного. Все это как будто и прежде мелькало передо мной в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю неожиданность такого существования и все более и более дивился на него. Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей каторги; я никогда не мог примириться с нею.

Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень немногие), а по ночам иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы не столько в трудности и непрерывности ее, сколько в том, что она — *принужденная*, обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже и по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, скорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячи преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение, и было бы бессмысленно, пото-

му что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденная.

Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег, нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть арестантов; остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напились, если навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты последнюю рубашку, и все это от тоски, от праздности, от нечего делать. Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: *вынужденное общее сожительство*. Общее сожительство, конечно, есть и в других местах; но в острого приходят такие люди, что не всякому хотелось бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, большею частью бессознательно.

Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли, что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом

три копейки. Но собственную пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания.

Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные, кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиной, соединенных между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.

Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой сальной свечи, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая часть была молчалива и угрюма со сна. Они зевали, потягивались и морщили свои клейменные лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота была страшная. Свежий зимний

воздух ворвался в дверь, как только ее отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта. Вода заготавливалась с вечера парашником. Во всякой казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра — утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один, начались немедленно ссоры.

— Куда лезешь, язевый лоб! — ворчал один угрюмый, высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом, — постой!

— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь, монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.

«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того только и надо было веселому толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим презрением.

— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на острожном чистяке!¹ Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.

Толстяк наконец рассердился.

— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, покрасневшись.

— То и есть, что птица!

¹Чистяком назывался хлеб из чистой муки, без примеси. (Примеч. автора.)

— Какая?

— Такая.

— Какая такая?

— Да уж одно слово такая.

— Да какая?

Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет драка. Для меня все это было так ново, и я смотрел с любопытством. Но впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало нравы острога.

Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него смотрят и ждут, осрамятся ли он или нет своим ответом; что надо было поддержать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника, стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его, как букашку, и медленно и внятно произнес:

— Каган!..

То есть, что он птица каган. Громкий залп хохота приветствовал находчивость арестанта.

— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.

Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.

— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.

— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за угла.

— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий, задорный; семеро одного не боимся...

— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой — крыночная блудница, у бабы простокишу поел, за то и кнута хватил.

— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.

— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу, родимому братцу!

— Брат... Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал инвалид, натягивая в рукава шинель...

Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для резания хлеба и мяса, на всю кухню один.

По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по углам.

— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.

— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.

— Нет, ты сперва помри, а я после...

Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта, видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.

— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть.

— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.

— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет... она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась. Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу: у него еще в форштадте дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида, купил, вот еще который потом удавился...

— Знаю. Он у нас в третьем годе в целовальниках сидел, а по прозвищу Гришка — Темный кабак. Знаю.

— А вот и не знаешь; это другой Темный кабак.

— Как не другой! Знать ты толсто знаешь! Да я тебе столько посредственников приведу...

— Приведешь! Ты откуда, а я чей?

— Чей! Да я вот тебя и *бивал*, да не хвастаю, а то еще чей!

— Ты бивал! Да кто меня прибьет, еще тот не родился; а кто бивал, тот в земле лежит.

— Чума бендерская!

— Чтоб те язвила язва сибирская!

— Чтоб с тобой говорила турецкая сабля!..

И пошла ругань.

— Ну-ну-ну! Загалдели! — закричали кругом. — На воле не умели жить; рады, что здесь до чистяка добрались...

Тотчас уймут. Ругаться, «колотить» языком позволяется. Это отчасти и развлечение для всех. Но до драки не всегда допустят, и только разве в исключительном случае враги подерутся. О драке донесут майору; начнутся розыски, приедет сам майор, — одним словом, всем нехорошо будет, а потому-то драка и не допускается. Да и сами враги ругаются больше для развлечения, для упражнения в слоге. Нередко сами себя обманывают, начинают с страшной горячкой, остервенением... думаешь: вот бросятся друг на друга; ничуть не бывало: дойдут до известной точки и тотчас расходятся. Все это меня сначала

чрезвычайно удивляло. Я нарочно привел здесь пример самых обыкновенных каторжных разговоров. Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом забаву, милое упражнение, приятность? Впрочем, не надо забывать и тщеславия. Диалектик-ругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру.

Еще вчера с вечера заметил я, что на меня смотрят косо.

Я уже поймал несколько мрачных взглядов. Напротив, другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас же стали подслуживаться: начали учить меня, как носить новые кандалы; достали мне, конечно за деньги, сундучок с замком, чтоб спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес в острог. На другой же день они у меня его украли и пропили. Один из них сделался впоследствии преданнейшим мне человеком, хотя и не переставал обкрадывать меня при всяком удобном случае. Он делал это без всякого смущения, почти бессознательно, как будто по обязанности, и на него невозможно было сердиться.

Между прочим, они научили меня, что должно иметь свой чай, что не худо мне завести и чайник, а покамест достали мне на подержание чужой и рекомендовали мне кашевара, говоря, что копеек за тридцать в месяц он будет стряпать мне что угодно, если я пожелаю есть особо и покупать себе провиант... Разумеется, они заняли у меня денег, и каждый из них в один первый день приходил занимать раза по три.

На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагоклонно.

Несмотря на то, что те уже лишены всех своих прав состояния и вполне сравнены с остальными арестантами, — арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубе-

ждению, а так, совершенно искренно, бессознательно. Они искренно признавали нас за дворян, несмотря на то, что сами же любили дразнить нас нашим падением.

— Нет, теперь полно! постой! Бывало, Петр через Москву прет, а нынче Петр веревки вьет, — и проч. и проч. любезности.

Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать. Особенно доставалось нам сначала на работе, за то, что в нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им вполне помогать. Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить его любовь.

В каторге было несколько человек из дворян. Во-первых, человек пять поляков. Об них я поговорю когда-нибудь особо. Каторжные страшно не любили поляков, даже больше, чем ссыльных из русских дворян. Поляки (я говорю об одних политических преступниках) были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетою.

Мне надо было почти два года прожить в остроге, чтоб приобрести расположение некоторых из каторжных. Но большая часть из них, наконец, меня полюбила и признала за «хорошего» человека.

Из русских дворян, кроме меня, было четверо. Один — низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу. Я слышал о нем еще до прихода в острог и с первых же дней прервал с ним всякие отношения. Другой — тот самый отцеубийца, о котором я уже говорил в своих записках. Третий был Аким Акимыч; редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но

некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности; он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. Служил он на Кавказе прапорщиком. Мы сошлись с ним с первого же дня, и он тотчас же рассказал мне свое дело. Начал он на Кавказе же с юнкеров, в пехотном полку, долго тянул лямку, наконец был произведен в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирной князек зажег его крепость и сделал на нее ночное нападение; оно не удалось. Аким Акимыч схитрил и не показал даже виду, что знает, кто злоумышленник. Дело свалили на немирных, а через месяц Аким Акимыч зазвал князька к себе подружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая. Аким Акимыч выстроил свой отряд; уличал и укорял князька всенародно; доказал ему, что крепости зажигать стыдно. Тут же прочел ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперед, и, в заключение, расстрелял его, о чем немедленно и донес начальству со всеми подробностями. За все это его судили, приговорили к смертной казни, но смягчили приговор и сослали в Сибирь, в каторгу второго разряда, в крепостях на двенадцать лет. Он вполне сознавал, что поступил неправильно, говорил мне, что знал об этом и перед расстрелянием князька, знал, что мирного должно было судить по законам; но, несмотря на то, что знал это, он как будто никак не мог понять своей вины настоящим образом:

— Да помилуйте! Ведь он зажег мою крепость? Что ж мне, поклониться, что ли, ему за это! — говорил он мне, отвечая на мои возражения.

Но, несмотря на то, что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.

Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой: взглянет раз и делает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги.

Выходя из острога на работу, арестанты строились перед кордегардией в два ряда; спереди и сзади арестантов выстроивались конвойные солдаты с заряженными ружьями. Являлись: инженерный офицер, кондуктор и несколько инженерных нижних чинов, приставов над работами. Кондуктор рассчитывал арестантов и посылал их партиями куда нужно на работу.

Вместе с другими я отправился в инженерную мастерскую. Это было низенькое каменное здание, стоявшее на большом дворе, заваленном разными матерьялами. Тут была кузница, слесарня, столярная, малярная и проч. Аким Акимыч ходил сюда и работал в малярной, варил олифу, составлял краски и разделявал столы и мебель под орех.

В ожидании перековки я разговорился с Акимом Акимычем о первых моих впечатлениях в остроге.

— Да-с, дворян они не любят, — заметил он, — особенно политических, съестъ рады; немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с? Здесь, я вам скажу, жить трудно. А в российских аре-

стантских ротах еще труднее-с. Вот у нас есть оттуда, так не нахвоятся нашим острогом, точно из ада в рай перешли. Не в работе беда-с. Говорят, там, в первом-то разряде, начальство не совершенно военное-с, по крайней мере другим манером, чем у нас, поступает-с. Там, говорят, ссыльный может жить своим домком. Я там не был, да так говорят-с. Не бреют; в мундирах не ходят-с; хотя, впрочем, оно и хорошо, что у нас они в мундирном виде и бритые; все-таки порядку больше, да и глазу приятнее-с. Да только им-то это не нравится. Да и посмотрите, сброд-то какой-с! Иной из кантонистов, другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок, семью, детей милых оставил на родине, пятый жид, шестой цыган, седьмой неизвестно кто, и все-то они должны ужиться вместе во что бы ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах. Да и воля-то какая: лишний кусок можно съесть только украдкой, всякий грош в сапоги прятать, и все только и есть, что острог да острог... Поневоле дурь пойдет в голову.

Но это я уж знал. Мне особенно хотелось расспросить о нашем майоре. Аким Акимыч не секретничал, и, помню, впечатление мое было не совсем приятное.

Но еще два года мне суждено было прожить под его начальством. Всё, что рассказал мне о нем Аким Акимыч, оказалось вполне справедливым, с тою разницею, что впечатление действительности всегда сильнее, чем впечатление от простого рассказа. Страшный был это человек именно потому, что такой человек был начальником, почти неограниченным, над двумястами душ. Сам по себе он только был беспорядочный и злой человек, больше ничего. На арестантов он смотрел как на своих естественных врагов, и это была первая и главная ошибка его. Он действительно имел некоторые способности; но все, даже и хорошее, представлялось в нем в таком исковерканном виде. Невоздержный, злой, он врывался

в острог даже иногда по ночам, а если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь, то наутро его наказывал: «Спи, дескать, на правом боку, как я приказал». В остроге его ненавидели и боялись, как чумы. Лицо у него было багровое, злобное. Все знали, что он был вполне в руках своего денщика, Федьки. Любил же он больше всего своего пуделя Трезорку и чуть с ума не сошел с горя, когда Трезорка заболел. Говорят, что он рыдал над ним, как над родным сыном; прогнал одного ветеринара и, по своему обыкновению, чуть не подрался с ним и, услышав от Федьки, что в остроге есть арестант, ветеринар-самоучка, который лечил чрезвычайно удачно, немедленно призвал его.

— Выручи! Озолочу тебя, вылечи Трезорку! — закричал он арестанту.

Это был мужик-сибиряк, хитрый, умный, действительно очень ловкий ветеринар, но вполне мужичок.

— Смотрю я на Трезорку, — рассказывал он потом арестантам, впрочем, долго спустя после своего визита к майору, когда уже все дело было забыто, — смотрю: лежит пес на диване, на белой подушке; и ведь вижу, что воспаление, что надоть бы кровь пустить, и вылечился бы пес, ей-ей говорю! да думаю про себя: «А что, как не вылечу, как околеет?» «Нет, говорю, ваше высокоблагородие, поздно позвали; кабы вчера или третьего дня, в это же время, так вылечил бы пса; а теперь не могу, не вылечу...»

Так и умер Трезорка.

Мне рассказывали в подробности, как хотели убить нашего майора. Был в остроге один арестант. Он жил у нас уже несколько лет и отличался своим кротким поведением. Замечали тоже, что он почти ни с кем никогда не говорил. Его так и считали каким-то юродивым. Он был грамотный и весь последний год постоянно читал Библию, читал и днем и ночью. Когда все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восковую

церковную свечу, взлезал на печку, раскрывал книгу и читал до утра. В один день он пошел и объявил унтер-офицеру, что не хочет идти на работу. Доложили майору; тот вскипел и прискакал немедленно сам. Арестант бросился на него с приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся. Его схватили, судили и наказали. Все произошло очень скоро. Через три дня он умер в больнице. Умирая, он говорил, что не имел ни на кого зла, а хотел только пострадать. Он, впрочем, не принадлежал ни к какой раскольничьей секте. В остроге вспоминали о нем с уважением.

Наконец, меня перековали. Между тем в мастерскую явились одна за другою несколько калашниц. Иные были совсем маленькие девочки. До зрелого возраста они ходили обыкновенно с калачами; матери пекли, а они продавали. Войдя в возраст, они продолжали ходить, но уже без калачей; так почти всегда водилось. Были и не девочки. Калач стоил грош, и арестанты почти все их покупали.

Я заметил одного арестанта, столяра, уже седенького, но румяного и с улыбкой заигрывавшего с калашницами. Перед их приходом он только что наvertsел на шею красненький кумачный платочек. Одна толстая и совершенно рябая бабенка поставила на его верстак свою сельницу. Между ними начался разговор.

— Что ж вы вчера не приходили туда? — заговорил арестант с самодовольной улыбочкой.

— Вот! Я пришла, а вас Митькой звали, — отвечала бойкая бабенка.

— Нас потребовали, а то бы мы неизменно находились при месте... А ко мне третьего дня все ваши приходили.

— Кто да кто?

— Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекунда приходила, Двугрошова приходила...

— Это что же? — спросил я Акима Акимыча, — неужели?..

— Бывает-с, — отвечал он, скромно опустив глаза, потому что был чрезвычайно целомудренный человек.

Это, конечно, бывало, но очень редко и с величайшими трудностями. Вообще было больше охотников, например, хоть выпить, чем на такое дело, несмотря на всю естественную тягость вынужденной жизни. До женщин было трудно добраться. Надо было выбирать время, место, условливаться, назначать свидания, искать уединения, что было особенно трудно, склонять конвойных, что было еще труднее, и вообще тратить бездну денег, судя относительно. Но все-таки мне удавалось впоследствии, иногда, быть свидетелем и любовных сцен. Помню, однажды летом мы были втроем в каком-то сарае на берегу Иртыша и протапливали какую-то обжигательную печку; конвойные были добрые. Наконец, явились две «суфлеры», как называют их арестанты.

— Ну, что так засиделись? Небось у Зверковых? — встретил их арестант, к которому они пришли, давно уже их ожидавший.

— Я засиделась? Да давеча сорока на коле дольше, чем я у них, посидела, — отвечала весело девица.

Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была Чекунда. С ней вместе пришла Двугрошова. Эта уже была вне всякого описания.

— И с вами давно не видались, — продолжал волокита, обращаясь к Двугрошовой, — что это вы словно как похудели?

— А может быть. Прежде-то я куды была толстая, а теперь — вот словно иглу проглотила.

— Все по солдатикам-с?

— Нет, уж это вам про нас злые люди набухвостили; а впрочем, что ж-с? Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить!

— А вы их бросьте, а нас любите; у нас деньги есть...

В довершение картины представьте себе этого волокиту бритого, в кандалах, полосатого и под конвоем.

Я простился с Акимом Акимычем и, узнав, что мне можно воротиться в острог, взял конвойного и пошел домой. Народ уже сходился. Прежде всех возвращаются с работы работающие на уроки. Единственное средство заставить арестанта работать усердно, это — задать ему урок. Иногда уроки задаются огромные, но все-таки они кончаются вдвое скорее, чем если б заставили работать вплоть до обеденного барабана. Окончив урок, арестант беспрепятственно шел домой, и уже никто его не останавливал.

Обедают не вместе, а как попало, кто раньше пришел; да и кухня не вместила бы всех разом. Я попробовал шей, но с непривычки не мог их есть и заварил себе чаю. Мы уселись на конце стола. Со мной был один товарищ, так же, как и я, из дворян.

Арестанты приходили и уходили. Было, впрочем, просторно, еще не все собрались. Кучка в пять человек уселась особо за большим столом. Кашевар налил им в две чашки шей и поставил на стол целую латку с жареной рыбой. Они что-то праздновали и ели свое. На нас они поглядели искоса. Вошел один поляк и сел рядом с нами.

— Дома не был, а всё знаю! — громко закричал один высокий арестант, входя в кухню и взглядом окидывая всех присутствующих.

Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе веселое. В особенности замечательна была его толстая, нижняя, отвисшая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое.

— Ну, здорово ночевали! Что ж не здороваетесь? Нашим курским! — прибавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушанье, — хлеб да соль! Встречайте гостя.

— Да мы, брат, не курские.

— Аль тамбовским?

— Да и не тамбовские. С нас, брат, тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси.

— В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван-Таскун да Марья-Икотишна; а где он, богатый мужик, живет?

— Да вон Газин богатый мужик; к нему и ступай.

— Кутит, братцы, сегодня Газин, запил; весь кошель пропивает.

— Целковых двадцать есть, — заметил другой. — Выгодно, братцы, целовальником быть.

— Что ж, не примете гостя? Ну, так похлебаем и казенного.

— Да ты ступай проси чаю. Вон баре пьют.

— Какие баре, тут нет бар; такие же, как и мы теперь, — мрачно промолвил один, сидевший в углу арестант. До сих пор он не проговорил слова.

— Напился бы чаю, да просить совестно: мы с амбицией, — заметил арестант с толстой губой, добродушно смотря на нас.

— Если хотите, я вам дам, — сказал я, приглашая арестанта, — угодно?

— Угодно? Да уж как не угодно! — Он подошел к столу.

— Ишь, дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал; господского питья захотелось, — проговорил мрачный арестант.

— А разве здесь никто не пьет чай? — спросил я его, но он не удостоил меня ответом.

— Вот и калачи несут. Уж удостойте и калачика!

Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и распродал ее по острогу. Калашница уступала ему десятый калач; на этот-то калач он и рассчитывал.

— Калачи, калачи! — кричал он, входя в кухню, — московские, горячие! Сам бы ел, да денег надо. Ну, ребята, последний калач остался: у кого мать была?

Это воззвание к материнской любви рассмешило всех, и у него взяли несколько калачей.

— А что, братцы, — проговорил он, — ведь Газин-то сегодня догуляется до греха! Ей-богу! Когда гулять вздумал. Неравно осмиглазый приедет.

— Спрячут. А что, крепко пьян?

— Куды! Злой, пристаёт.

— Ну, так догуляется до кулаков...

— Про кого они говорят? — спросил я поляка, сидевшего рядом со мною.

— Это Газин, арестант. Он торгует здесь вином. Когда наторгует денег, то тотчас же их пропивает. Он жесток и зол; впрочем, трезвый смирен; когда же напьется, то весь наружу; на людей с ножом кидается. Тут уж его унижают.

— Как же унижают?

— На него бросаются человек десять арестантов и начинают ужасно бить, до тех пор, пока он не лишится всех чувств, то есть бьют до полусмерти. Тогда укладывают его на нары и накрывают полушубком.

— Да ведь они могут его убить?

— Другого бы убили, но его нет. Он ужасно силен, сильнее здесь всех в остроге и самого крепкого сложения. На другое же утро он встает совершенно здоровый.

— Скажите, пожалуйста, — продолжал я расспрашивать поляка, — ведь вот они тоже едят свое кушанье, а я пью чай. А между тем они смотрят, как будто завидуют за этот чай. Что это значит?

— Это не за чай, — отвечал поляк. — Они злятся на вас за то, что вы дворянин и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унижить. Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть. Вы еще не раз встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то, что здесь очень многие и очень часто едят свое, а некоторые постоянно пьют чай. Им можно, а вам нельзя.

Проговорив это, он встал и ушел из-за стола. Через несколько минут сбылись и слова его...

III

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Только что ушел М-цкий (тот поляк, который говорил со мною), Газин, совершенно пьяный, ввалился в кухню.

Пьяный арестант, среди бела дня, в будний день, когда все обязаны были выходить на работу, при строгом начальнике, который каждую минуту мог приехать в острог, при унтер-офицере, заведующем каторжными и находящемся в остроге безотлучно; при караульных, при инвалидах — одним словом, при всех этих строгостях совершенно спутывал все зарождавшиеся во мне понятия об арестантском житье-бытье. И довольно долго пришлось мне прожить в остроге, прежде чем я разъяснил себе все такие факты, столь загадочные для меня в первые дни моей каторги.

Я говорил уже, что у арестантов всегда была собственная работа и что эта работа — естественная потребность каторжной жизни; что, кроме этой потребности, арестант страстно любит деньги и ценит их выше всего, почти наравне с свободой, и что он уже утешен, если они звенят у него в кармане. Напротив, он уныл, грустен, беспокоен и падает духом, если их нет, и тогда он готов и на воровство и на что попало, только бы их добыть. Но, несмотря на то, что в остроге деньги были такою драгоценностью, они никогда не залеживались у счастливица, их имеющего. Во-первых, трудно было их сохранить, чтоб не украли или не отобрали. Если майор добирался до них, при внезапных обысках, то немедленно отбирал. Может быть, он употреблял их на улучшение арестантской пищи; по крайней мере они приносились к нему. Но всего чаще их крали: ни на кого нельзя было положиться. Впоследствии у нас открыли способ сохранять деньги с полной безопасностью. Они отдавались на сохранение старику-староверу, поступившему к нам из стародубовских слобод, бывших когда-то Ветковцев... Но не могу утерпеть,

чтоб не сказать о нем несколько слов, хотя и отвлекаюсь от предмета.

Это был старичок лет шестидесяти, маленький, седенький. Он резко поразил меня с первого взгляда. Он так не похож был на других арестантов: что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его ясные, светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Часто говорил я с ним и редко встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни. Прислали его за чрезвычайно важное преступление. Между стародубовскими старообрядцами стали появляться обращенные. Правительство сильно поощряло их и стало употреблять все усилия для дальнейшего обращения и других несогласных. Старик вместе с другими фанатиками решился «стоять за веру», как он выражался. Началась строиться единоверческая церковь, и они сожгли ее. Как один из зачинщиков старик сослан был в каторжную работу. Был он зажиточный, торгующий мещанин; дома оставил жену, детей; но с твердостью пошел в ссылку, потому что в ослеплении своем считал ее «мукою за веру». Прожив с ним некоторое время, вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот смиренный, кроткий, как дитя, человек быть бунтовщиком? Я несколько раз заговаривал с ним «о вере». Он не уступал ничего из своих убеждений; но никогда никакой злобы, никакой ненависти не было в его возражениях. А между тем он разорил церковь и не запирался в этом. Казалось, что, по своим убеждениям, свой поступок и принятые за него «муки» он должен бы был считать славным делом. Но как ни всматривался я, как ни изучал его, никогда никакого признака тщеславия или гордости не замечал я в нем. Были у нас в остроге и другие старообрядцы, большею частью сибиряки. Это был сильно развитой народ, хитрые мужики, чрезвычайные начетчики и буквоеды и по-своему сильные диалектики; народ надменный, заносчивый, лукавый

и нетерпимый в высочайшей степени. Совсем другой человек был старик. Начетчик, может быть, больше их, он уклонялся от споров. Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся — не тем грубым, циничным смехом, каким смеялись каторжные, а ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия и который как-то особенно шел к сединам. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший. Во всем острее старик приобрел всеобщее уважение, которым несколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его. Я отчасти понял, какое мог он иметь влияние на своих единоверцев. Но, несмотря на видимую твердость, с которою он переживал свою каторгу, в нем таилась глубокая, неизлечимая грусть, которую он старался скрывать от всех. Я жил с ним в одной казарме. Однажды, часу в третьем ночи, я проснулся и услышал тихий, сдержанный плач. Старик сидел на печи (той самой, на которой прежде него по ночам молился зачитавшийся арестант, хотевший убить майора) и молился по своей рукописной книге. Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам: «Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда-то нам не свидаться!» Не могу рассказать, как мне стало грустно. Вот этому-то старику мало-помалу почти все арестанты начали отдавать свои деньги на хранение. В каторге почти все были воры, но вдруг все почему-то уверились, что старик никак не может украсть. Знали, что он куда-то прятал врученные ему деньги, но в такое потаенное место, что никому нельзя было их отыскать. Впоследствии мне и некоторым из поляков он объяснил свою тайну. В одной из палей был сучок, по-видимому твердо сросшийся с деревом. Но он вынимался, и в дереве оказалось большое углубление.

Туда-то дедушка прятал деньги и потом опять вкладывал сучок, так что никто никогда не мог ничего отыскать.

Но я отклонился от рассказа. Я остановился на том: почему в кармане у арестанта не залеживались деньги. Но, кроме труда уберечь их, в остроге было столько тоски; арестант же, по природе своей, существо до того жаждущее свободы и, наконец, по социальному своему положению, до того легкомысленное и беспорядочное, что его, естественно, влечет вдруг «развернуться на все», закутить на весь капитал, с громом и с музыкой, так, чтоб забыть, хоть на минуту, тоску свою. Даже странно было смотреть, как иной из них работает, не разгибая шеи, иногда по несколько месяцев, единственно для того, чтоб в один день спустить весь заработок, все дочиста, а потом опять, до нового кутежа, несколько месяцев корпеть за работой. Многие из них любили заводить себе обновки, и непременно партикулярного свойства: какие-нибудь неформенные, черные штаны, поддевки, сибирки. В большом употреблении были тоже ситцевые рубашки и пояса с медными бляхами. Рядились в праздники, и разрядившийся непременно, бывало, пройдет по всем казармам показать себя всему свету. Довольство хорошо одетого доходило до ребячества, да и во многом арестанты были совершенные дети. Правда, все эти хорошие вещи как-то вдруг исчезали от хозяина, иногда в тот же вечер закладывались и спускались за бесценок. Впрочем, кутеж развертывался постепенно. Пригонялся он обыкновенно или к праздничным дням, или к дням имени кутившего. Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени; он наедался, как вол, почти всегда один, редко приглашая товарищей разделить свою трапезу. Потом появлялось и вино: именинник напивался как стелька и непременно ходил по казармам, покачиваясь и спотыкаясь, стараясь показать всем, что

он пьян, что он «гуляет», и тем заслужить всеобщее уважение. Везде в русском народе к пьяному чувствуется некоторая симпатия; в остроге же к загулявшему даже делались почтительны. В острожной гульбе был своего рода аристократизм. Развеселившись, арестант непременно нанимал музыку. Был в остроге один полячок из беглых солдат, очень гаденький, но игравший на скрипке и имевший при себе инструмент — все свое достояние. Ремесла он не имел никакого и тем только и промышлял, что нанимался к гуляющим играть веселые танцы. Должность его состояла в том, чтоб безотлучно следовать за своим пьяным хозяином из казармы в казарму и пилить на скрипке изо всей мочи. Часто на лице его являлась скука, тоска. Но окрик: «Играй, деньги взял» — заставлял его снова пилить и пилить. Арестант, начиная гулять, мог быть твердо уверен, что если он уж очень напьется, то за ним непременно присмотрят, вовремя уложат спать и всегда куда-нибудь спрячут при появлении начальства, и все это совершенно бескорыстно. С своей стороны, унтер-офицер и инвалиды, жившие для порядка в остроге, могли быть тоже совершенно спокойны: пьяный не мог произвести никакого беспорядка. За ним смотрела вся казарма, и если б он зашумел, забунтовал — его бы тотчас же усмирили, даже просто связали бы. А потому низшее острожное начальство смотрело на пьянство сквозь пальцы, да и не хотело замечать. Оно очень хорошо знало, что не позволь вина, так будет и хуже. Но откуда же доставалось вино?

Вино покупалось в остроге же у так называемых ценовальников. Их было несколько человек, и торговлю свою они вели непрерывно и успешно, несмотря на то, что пьющих и «гуляющих» было вообще немного, потому что гульба требовала денег, а арестантские деньги добывались трудно. Торговля начиналась, шла и разрешалась довольно оригинальным образом. Иной арестант, положим, не имеет ремесла и не желает трудиться (такие

бывали), но хочет иметь деньги и притом человек нетерпеливый, хочет скоро нажиться. У него есть несколько денег для начала, и он решается торговать вином: предприятие смелое, требующее большого риска. Можно было за него поплатиться спиной и разом лишиться товара и капитала. Но целовальник на то идет. Денег у него сначала немного, и потому в первый раз он сам проносит в острог вино и, разумеется, сбывает его выгодным образом. Он повторяет опыт второй и третий раз, и если не попадаетея начальству, то быстро расторговывается и только тогда основывает настоящую торговлю на широких основаниях: делается антрепренером, капиталистом, держит агентов и помощников, рискует гораздо меньше, а наживается все больше и больше. Рискуют за него помощники.

В остроге всегда бывает много народу промотавшегося, проигравшегося, прогулявшего все до копейки, народу без ремесла, жалкого и оборванного, но одаренного до известной степени смелостью и решимостью. У таких людей остается, в виде капитала, в целости одна только спина; она может еще служить к чему-нибудь, и вот этот-то последний капитал промотавшийся гуляка и решается пустить в оборот. Он идет к антрепренеру и занимается к нему для проноски в острог вина; у богатого целовальника таких работников несколько. Где-нибудь вне острога существует такой человек — из солдат, из мещан, иногда даже девка, — который на деньги антрепренера и за известную премию, сравнительно очень небольшую, покупает в кабаке вино и скрывает его где-нибудь в укромном местечке, куда арестанты приходят на работу. Почти всегда поставщик первоначально испробывает доброту водки и отпитое — бесчеловечно добавляет водой; бери не бери, да арестанту и нельзя быть слишком разборчивым: и то хорошо, что еще не совсем пропали его деньги и доставлена водка хоть какая-нибудь, да все-таки водка. К этому-то поставщику и являются указанные

ему наперед от осторожного целовальника пронositели, с бычачьими кишками. Эти кишки сперва промываются, потом наливаются водой и, таким образом, сохраняются в первоначальной влажности и растяжимости, чтобы со временем быть удобными к восприятию водки. Налив кишки водкой, арестант обвязывает их кругом себя, по возможности в самых скрытных местах своего тела. Разумеется, при этом выказывается вся ловкость, вся воровская хитрость контрабандиста. Его честь отчасти затронута; ему надо надуть и конвойных и караульных. Он их надувает: у хорошего вора конвойный, иногда какой-нибудь рекрутик, всегда прозеваает. Разумеется, конвойный изучается предварительно; к тому же принимается в соображение время, место работы. Арестант, например печник, полезет на печь: кто увидит, что он там делает? Не лезть же за ним и конвойному. Подходя к острогу, он берет в руки монетку — пятнадцать или двадцать копеек серебром, на всякий случай, и ждет у ворот ефрейтора. Всякого арестанта, возвращающегося с работы, караульный ефрейтор осматривает кругом и ощупывает и потом уже отпирает ему двери острога. Пронositель вина обыкновенно надеется, что посоветятся слишком подробно его ощупывать в некоторых местах. Но иногда пролаз-ефрейтор добирается и до этих мест и нашупывает вино. Тогда остается одно последнее средство: контрабандист молча и скрытно от конвойного сует в руки ефрейтора затаенную в руке монетку. Случается, что вследствие такого маневра он проходит в острог благополучно и проносит вино. Но иногда маневр не удается, и тогда приходится рассчитаться своим последним капиталом, то есть спиной. Докладывают майору, капитал секут, и секут больно, вино отбирается в казну, и контрабандист принимает все на себя, не выдавая антрепренера, но, заметим себе, не потому, чтоб гнушался доноса, а единственно потому, что донос для него невыгоден: его бы все-таки высекли; всё утешение было бы в том, что их бы высекли

обоих. Но антрепренер ему еще нужен, хотя, по обычаю и по предварительному договору, за высеченную спину контрабандист не получает с антрепренера ни копейки. Что же касается вообще доносов, то они обыкновенно процветают. В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению; негодование к нему даже немыслимо. Его не чуждаются, с ним водят дружбу, так что если бы вы стали в остроге доказывать всю гадость доноса, то вас бы совершенно не поняли. Тот арестант из дворян, развратный и подлый, с которым я прервал все сношения, водил дружбу с майорским денщиком Федькой и служил у него шпионом, а тот передавал все услышанное им об арестантах майору. У нас все это знали, и никто никогда даже и не вздумал наказать или хоть укорить негодяя.

Но я отклонился в сторону. Разумеется, бывает, что вино проносится и благополучно; тогда антрепренер принимает принесенные кишки, заплатив за них деньги, и начинает рассчитывать. По расчету оказывается, что товар стоит уже ему очень дорого; а потому, для больших барышей, он переливает его еще раз, сызнова разбавляя еще раз водой, чуть не наполовину, и, таким образом приготовившись совершенно, ждет покупателя. В первый же праздник, а иногда в будни, покупатель является: это арестант, работавший несколько месяцев, как кордонный вол, и скопивший копейку, чтобы пропить всё в заранее определенный для того день. Этот день еще задолго до своего появления снился бедному труженику и во сне, и в счастливых мечтах за работой и обаянием своим поддерживал его дух на скучном поприще острожной жизни. Наконец, заря светлого дня появляется на востоке; деньги скоплены; не отобраны, не украдены, и он их несет целовальнику. Тот подает ему сначала вино, по возможности чистое, то есть всего только два раза разбавленное; но по мере отпивания из бутылки все отпитое немедленно добавляется водой. За чашку вина платится впятеро, вшестеро больше, чем в кабаке. Мож-